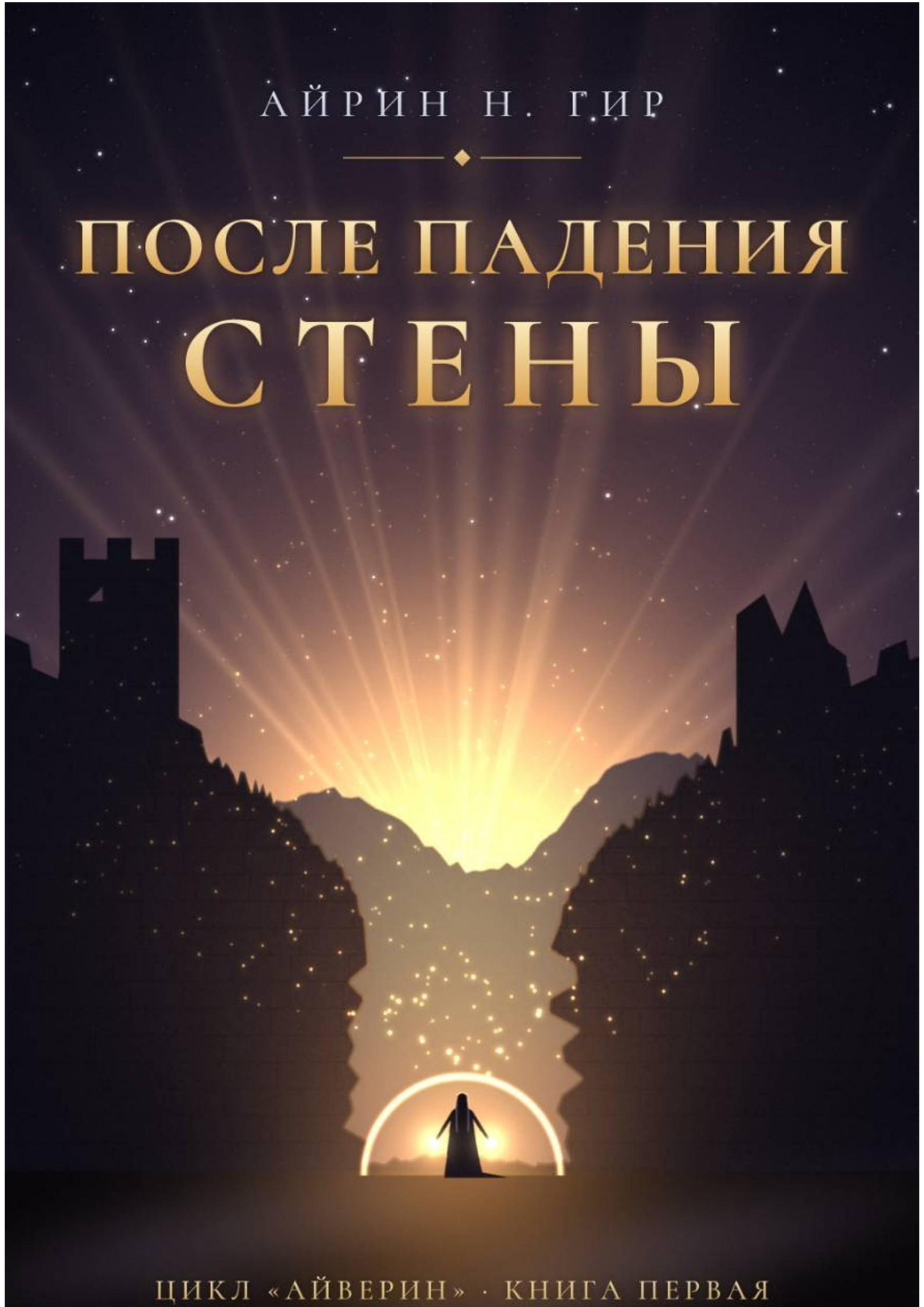
АЙРИН Н. ГИР

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ СТЕНЫ



ЦИКЛ «АЙВЕРИН» · КНИГА ПЕРВАЯ

Айрин Н. Гир

После падения стены

«Автор»
2026

Гир А.

После падения стены / А. Гир — «Автор», 2026

Древняя Стена, защищавшая мир от тьмы, пала, а вместе с ней рухнул и хрупкий баланс Айверина. Скаррады идут по выжженным землям, и за ними тянется ледяной след разрушений.В тихом Ивовом Броде юная травница Мирэль живет обычной жизнью, даже не подозревая, какая сила дремлет под её сердцем. Но когда война и пепел добираются до её дома, миру требуется не исцеление, а оружие. Потеряв всё, Мирэль вынуждена встать на путь, откуда нет возврата, — путь, где свет может как спасти, так и сжечь дотла. Ей и младшему принцу Кайрену предстоит пройти через горнило испытаний, где цена ошибки — жизнь целого мира, а любовь приходит слишком поздно, чтобы всё исправить.Эпическое фэнтези о разрушенных границах, цене истинной верности и упрямом свете, который не гаснет даже на краю бездны.

© Гир А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1 9
Глава 2 14
Глава 3 22
Г 26
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Айрин Н. Гир
После падения стены

Цикл «Айверин». Книга первая

Айрин Н. Гир

Пролог
Ночь, когда погас свет

Двадцать лет назад

Женщина пришла к нему в первую ночь зимы.

Потом он так и не смог вспомнить её лица. Помнил только, что оно было самым обычным: такие лица видишь на рынке сотнями и забываешь раньше, чем успеешь отвернуться. Она стояла у его двери под мокрым снегом, без плаща, и снег не таял у неё на волосах.

Стража её не видела. Собаки не лаяли. Она просто была там, где миг назад никого не было.

— Ты хочешь большего, — сказала она. Не спросила — сказала, так говорят о погоде. — Тебе отмерили меньше, чем ты стоишь. Ты улыбаешься тем, кто глупее тебя, и кланяешься тем, кто не стоит твоего мизинца. И никто не видит, чего тебе это стоит. Кроме нас.

Он должен был позвать стражу.

Он пригласил её войти.

В комнате горели свечи, и в их свете он увидел то, чего не заметил на пороге. Её лицо не стояло на месте. Оно чуть заметно стекало, как воск с оплывающей свечи: то становилось моложе, то старше, то на миг вовсе теряло черты, и тогда под ним проступало другое — гладкое, бледное, пустое. И глаза — белёсые, без единой искры.

Он не отшатнулся. Он давно разучился показывать, что чувствует.

— Скаррад, — сказал он. — По эту сторону стены.

— Умный. — Улыбка на её чужом лице вышла кривой, будто лицо забыло, как улыбаться. — Когда Айвэрин поднял стену, некоторые из нас были по эту сторону. Нас было немного. Нас забыли. Мы прятались среди вас сотни лет. Носили ваши лица, как одежду, и меняли их, когда они старели. И ждали.

— Чего?

— Тебя.

Она села у огня и протянула к нему руки, хотя им не было холодно. Привычка, подумал он. Сотни лет притворяться человеком.

— Мы не можем подойти к камню, — сказала она. — Его стерегут Хранители, а их свет сжигает с нас лица. Один шаг за их барьер — и все увидят, кто мы. Нам нужны руки. Человеческие руки, которые откроют двери и уведут стражу. Люди, которым доверяют.

— И что получат эти люди?

— Всё. — Её белёсые глаза сверкнули. — Когда стена падёт, Нархату понадобятся те, кто будет править этими землями от его имени. Все, кто сейчас стоит выше тебя, встанут перед тобой на колени. Или не встанут уже никогда. Это как ты захочешь.

Он долго смотрел в огонь. Он думал о тех, кто называл его другом. О тех, кто доверял ему без оглядки. О том, сколько лет он улыбался им и как сильно устал улыбаться.

Потом поднял глаза.

— Что нужно сделать?

* * *

Он выбирал их целый год — терпеливо, как выбирают камни для стены. Не самых сильных и не самых умных. Тех, в ком уже есть трещина.

Вельможа из Королевского совета — тучный, обходительный, с тяжёлым перстнем на указательном пальце. Он двадцать лет ждал места по правую руку короля и проиграл его человеку вдвое младше. Капитан стражи Высокого святилища — суровый солдат с долгами, которые он не вернул бы и за три жизни, и с дочерью, которую за эти долги грозились продать. И хронист из храмовой библиотеки — худой, бледный, с чернильными пятнами на пальцах. Ему не нужны были ни золото, ни власть. Ему нужно было знать. А всё, что он должен был знать, хранилось за дверью, ключ от которой ему не давали.

Встречались они в склепе под заброшенной часовней на окраине столицы. Пахло сыростью, плесенью и старыми костями. Одинокий фонарь на каменном саркофаге освещал только руки — лица тонули в темноте.

Своего господина никто из троих так ни разу и не увидел. Он приходил последним, в глубоком капюшоне и перчатках, и всегда стоял так, чтобы свет фонаря не доставал до его лица. Говорил тихо, почти мягко, и никогда не повышал голоса. Ему не нужно было. От этого тихого голоса у вельможи потели ладони, а бывалый капитан стражи ловил себя на том, что стоит навытяжку.

Они не знали его имени. И не хотели знать. В склепе его называли просто Господином.

За неделю до Праздника Света они собрались в последний раз.

— Расскажи им, — велел Господин хронисту.

Хронист развернул на крышке саркофага свиток — жёлтый, ломкий, с обгоревшими краями. Он украл его из запертого хранилища, куда не спускались уже сто лет, и руки у него дрожали до сих пор — не от страха, а от восторга.

— Айвэрин нельзя разбить, — заговорил он лихорадочным шёпотом. — Ни молотом, ни огнём, ни магией. Его можно только погасить. Свет боится лишь одного — настоящей тьмы, принесённой в самое его сердце. А раз в год, в ночь Праздника Света, Хранители отдают камню свою силу. Всю, до последней капли. До рассвета они слабее детей. В эту ночь святилище стерегут только люди с мечами.

Все повернулись к капитану.

Тот долго молчал. Потом сказал хрипло:

— У ворот будут мои люди. Те, кто не задаёт вопросов.

— А Хранители? — вельможа облизнул губы. — Даже ослабевшие…

— Хранители будут спать. — Голос из-под капюшона был спокоен, как гладь лесного озера. — После обряда им по традиции подносят вино из королевских погребов. О вине позаботится наш друг из Совета. А о тьме — наша гостья.

Из темноты за его спиной шагнула женщина. Никто не слышал, как она вошла. Её лицо в свете фонаря было лицом молодой прислужницы из святилища — капитан узнал его и побелел. Девушка пропала две недели назад. Её так и не нашли.

В руках женщина держала свёрток из чёрной ткани. Когда она отвернула край, пламя в фонаре съёжилось и посинело, будто ему стало холодно. На ткани лежал осколок — узкий, с ладонь, чёрный настолько, что на него больно было смотреть. Он не отражал света. Он его пил.

— Кусочек Нархата, — сказала она почти нежно. — Мы унесли его с собой, когда поднялась стена. И хранили триста лет. Для этой ночи.

Хронист смотрел на осколок, не в силах отвести глаз. Вельможа отступил на шаг. Капитан перекрестил пальцы в старом солдатском знаке от дурного глаза.

— Если кто-то из вас передумал, — мягко сказал Господин, — скажите сейчас.

Никто не сказал ни слова.

Они все помнили писца из Совета, который пришёл на первую встречу, а на вторую уже не пришёл. Его тело выловили из реки весной. Говорили, что он выпил лишнего и оступился на мосту.

И только они трое знали, что за день до смерти писец сказал, что хочет выйти из игры.

* * *

В ночь Праздника Света над столицей звонили все колокола.

На улицах горели тысячи фонариков, люди пели и протягивали детей к окнам, чтобы те увидели, как вспыхнет Высокое святилище на горе. В полночь Хранители в белых одеждах отдали Айвэрину свою силу — и золото-серебряное сияние поднялось над горой столбом до самых звёзд. Город взорвался радостными криками. Ещё один год стена будет стоять. Ещё один год мира.

Из всех, кто смотрел на этот свет, только пятеро знали, что он горит в последний раз.

К часу пополуночи святилище затихло. Хранители выпили вино из королевских погребов и разошлись по кельям. Они спали так крепко, что не проснулись бы и от грома. У ворот стояли люди капитана. Когда мимо них прошли четверо в тёмных плащах, они смотрели в другую сторону.

Вельможа остался внизу, на пиру. Кто-то должен был поклясться, что никто из них не отлучался.

Зал Айвэрина был круглым и белым, с открытым сводом, сквозь который видны были звёзды. Посреди зала на каменном алтаре, в углублении в форме капли, лежал камень.

Он был небольшим — с ладонь. Хронист почему-то всегда представлял его огромным. Он светился мягко, ровно, золотом и серебром сразу, и свет этот дышал. Разгорался и тускнел, разгорался и тускнел. Медленно. Спокойно. Как сердце спящего.

Хронист почувствовал, что плачет. Он не знал почему.

Женщина с чужим лицом сделала шаг к алтарю. И ещё один.

На третьем шаге её лицо начало таять.

Оно стекало с неё, как стекает краска под дождём: щёки, губы, ресницы прислужницы. Под ним была гладкая белая пустота, и пустота эта дымилась. Скаррад застонал — тонко, не по-человечески, так что у хрониста заложило уши. Свет Айвэрина жёг его. Но он шёл. Шаг. Ещё шаг. Триста лет ожидания вели его вперёд сильнее боли.

С последним шагом он вложил чёрный осколок в углубление алтаря, вплотную к камню.

Айвэрин вздрогнул.

Потом хронист клялся себе, что это ему показалось. Но он видел: камень вздрогнул, как вздрагивает человек, когда его бьют ножом в спину. Медленное дыхание света сорвалось. Вспышка — темнота — вспышка — темнота, всё чаще, всё отчаяннее. Как сердце, которое знает, что скоро остановится. По залу понёсся звук — тонкий, хрустальный, нарастающий, будто кто-то ведёт мокрым пальцем по краю огромного бокала. Звук рос, вибрировал в зубах, в рёбрах, в камне стен. Хронист зажал уши ладонями и всё равно слышал.

Камень кричал.

А потом свет взорвался.

Он залил зал до краёв, белый и беспощадный, и в этом свете скаррад сгорел за один удар сердца, даже не успев закричать. Хронист смотрел прямо в него — он так хотел видеть, так долго ждал этого мгновения, — и это было последнее, что он увидел в своей жизни.

Потом стало темно и тихо.

Когда капитан смог наконец разлепить слезящиеся глаза, зал был пуст. На полу — горстка серого пепла там, где стоял скаррад. Хронист на коленях, вцепившись в собственное лицо, и

сквозь его пальцы течёт кровь. А в углублении алтаря — ничего. Ни камня. Ни осколка. Ни света.

Господин подошёл к алтарю и коснулся пустого углубления кончиками пальцев в перчатке. Камень был холодным — мёртвым, как надгробие.

— Кончено, — сказал он.

И в тот же миг далеко на севере, там, где сотни лет над горизонтом светилась бледная серебряная полоса, полоса мигнула. Раз. Другой. И погасла — так, как гаснет свеча, когда её задувают.

Через минуту с севера прикатился грохот — долгий, низкий, будто рушилась гора. Внизу, в столице, замолчали колокола. Люди на праздничных улицах один за другим поднимали головы к горе, где больше не горел свет.

Стена пала.

Хронист тихо скулил, раскачиваясь на коленях.

— Я не вижу… ничего не вижу… Помогите мне… Я расскажу лекарям, что это была молния… Я никому…

Господин даже не обернулся.

— Капитан, — сказал он.

Капитан понял. Он долго стоял над слепым, сжимая рукоять кинжала. Потом подумал о своей дочери. И сделал то, что должен был.

— Теперь нас трое, — сказал Господин, когда всё было кончено. — Пусть так и останется.

Он поправил капюшон и вышел из зала. На лестнице снял перчатки. В тёмной нише у подножия горы сбросил плащ. А когда час спустя на всех улицах столицы уже били в набат, а люди плакали и молились, он стоял среди них — с тем лицом, которое знали все. И никто, ни одна живая душа, не заметил на нём ничего, кроме горя и тревоги.

* * *

Никто из них не заметил и другого.

В то мгновение, когда свет взорвался, из него вырвалась одна-единственная золотая искра. Она взлетела сквозь открытый свод, мимо холодных звёзд, и ушла в ночь — на юг, туда, где за реками и лесами спали деревни, ещё не знавшие, что мир кончился.

А в доме на краю леса молодая женщина с серебристыми волосами проснулась посреди ночи и прижала ладонь к животу. Там, под её сердцем, впервые шевельнулся ребёнок. И от этого движения по всему её телу разлилось тепло — золотое, тихое, словно кто-то зажёг в ней свечу.

— Упрямец, — шёпотом позвала она и тронула за плечо спящего рядом мужа. — Проснись. Она шевельнулась.

За окном, на далёком севере, гасло серебряное сияние стены. Но она смотрела не туда. Она улыбалась.

Глава 1
Сказка о небесном камне

Ило снова попросил сказку про камень.

Он просил её каждый вечер, с тех пор как научился говорить, и каждый вечер я делала вид, что раздумываю. Морщила лоб, смотрела в потолок, тянула: «Ну-у, не знаю… Может, сегодня про лису и мельника?» — и каждый раз он мотал головой так, что светлые вихры разлетались во все стороны.

— Про камень, Мирэль. Ты обещала.

Я не обещала. Но спорить с пятилетним мальчишкой, который уже забрался ко мне на колени и устроился так, будто собирался провести там всю зиму, было бесполезно.

Его мать, вдова Ольса, допоздна работала на мельнице, и по вечерам Ило оставался со мной. В моей хижине на краю Ивового Брода было тесно и пахло сушёными травами — пучки зверобоя и полыни висели под самой крышей, — зато очаг грел исправно, а для Ило у меня всегда находились лепёшка и сказка.

Я подбросила в огонь полено, дождалась, пока пламя поднимется, и начала так, как когда-то начинала мама.

— Давным-давно, когда мир был молод, небо уронило на землю слезу.

— Камень, — шёпотом поправил Ило.

— Камень, — согласилась я. — Но тот, кто увидел его первым, подумал, что это слеза. Он светился, как звезда, и был тёплым, как живое сердце. Люди назвали его Айвэрин.

Мама произносила это имя иначе, чем все. Мягко, почти нараспев, будто звала близкого друга. Я старалась повторять за ней, но у меня никогда так не выходило.

— Айвэрин умел исцелять, — продолжила я. — Любую рану, любую болезнь. Даже такую, от которой не спасали ни травы, ни лекари. Если ребёнок три дня горел в лихорадке, его приносили к камню, и наутро он просыпался здоровым и просил есть.

— Как я, когда у меня болело горло?

— Тебе помог мой отвар из шалфея, — фыркнула я. — И то ты плевался.

Ило захихикал и уткнулся мне в плечо.

— Но исцелять — это было не главное, — сказала я тише, и он сразу затих, потому что знал: сейчас начнётся самое страшное. — Главное — Айвэрин держал мир в равновесии. На одной чаше весов были светлые народы. Валдар, где живём мы. Солмира у тёплого моря. Иландрия с её лесами, где деревья выше любой башни. А на другой…

— Скаррады, — выдохнул Ило.

— Скаррады, — повторила я, и мне показалось, что огонь в очаге на миг стал ниже.

Мама никогда не произносила это слово громко. Я тоже.

— Скаррады жили в земле, которая называется Нархат, — продолжала я. — Они были умнее всех других народов и хитрее всех. Но в них не было ни жалости, ни доброты, ни сочувствия. Им было мало просто жить: им нужно было, чтобы другие страдали. Чужая боль была для них слаще мёда, а чужая смерть — веселее праздника. И больше всего на свете они хотели одного — власти над всем миром.

— И тогда Айвэрин поднял стену, — Ило знал эту часть наизусть и не утерпел.

— И тогда между ними и остальным миром встала стена, — кивнула я. — Высокая, до самых облаков, и прозрачная, как вода в роднике. Говорят, днём её почти не было видно, только воздух дрожал, как над костром. А ночью она светилась бледным серебром, и путники видели этот свет за много дней пути. Через неё не мог пройти никто: ни воин, ни зверь, ни даже мысль. Скаррады остались по ту сторону. Стена стала для них тюрьмой.

— Так им и надо, — серьёзно сказал Ило.

Я улыбнулась и погладила его по голове. Мне тоже так казалось, когда я была маленькой. Тогда я думала, что сказки заканчиваются на тюрьме для злодеев.

— Веками скаррады пытались разрушить стену, — сказала я. — Они бились о неё, жгли её, плели против неё свою тёмную магию. Но стену держал Айвэрин, а его нельзя было сломать снаружи. И тогда они поняли: если не могут разрушить стену, нужно уничтожить камень.

— Но они же не могли до него добраться!

— Сами не могли. — Я помолчала. Эту часть я не любила больше всего. — Но среди светлых народов нашлись люди, которые хотели власти так же сильно, как скаррады. Они думали: если помочь тёмным, те наградят их. Сделают правителями. Дадут всё, чего им не хватает. И они помогли.

— Предатели, — Ило сжал кулачки.

— Предатели, — согласилась я. — Никто не знает, кем они были и сколько их было. Никто не знает, что именно они сделали. Знают только, что однажды ночью свет Айвэрина погас. И стена пала.

Вхижине стало тихо. Ило не шевелился. Огонь трещал, за окном протяжно скрипела старая ива.

Все говорили, что камень уничтожен. Так говорили солдаты, проходившие через Брод, и торговцы, и старики на завалинке у мельницы. Так говорила и я — в каждой сказке, каждый вечер. Я верила в это, как и все.

Тогда я ещё не знала, как сильно ошибаюсь.

— А потом пришла война, — сказала я.

Дальше я рассказывала коротко, потому что Ило был маленьким, а правда — слишком большой для него. Я говорила, что скаррады пошли войной на светлые народы, что Солмира и Иландрия пали, а Валдар до сих пор стоит. Что наш король Вейрен — великий воин и что, пока он жив, тёмные не пройдут.

Остального я ему не рассказывала.

Что в первую же зиму после падения стены сгорели сотни деревень. Что там, где проходили скаррады, не оставалось ничего: ни домов, ни полей, ни людей — только чёрная земля, на которой годами ничего не росло. Что у них были воины, которых называли дравэнами, и одного их взгляда хватало, чтобы в человеке проснулось всё самое тёмное, что он прятал даже от себя, — и он бросался с ножом на тех, кого любил. Что были безликие, которые умели заглянуть человеку в память и прийти к нему в облике того, кого он любит больше всех, — и потому никто больше не мог до конца доверять даже родным. Что были иссушающие, после чьего прикосновения люди падали серыми и пустыми, как сухие листья. И что были те, кто поднимал мёртвых, и тогда воинам Валдара приходилось сражаться с собственными павшими братьями.

Не рассказывала и о том, какой ценой Валдар до сих пор стоит. Своими глазами я видела это только однажды, когда через Брод шёл обоз с ранеными.

Один из солдат, совсем мальчишка, был Огнекровным. Я слышала о них и раньше: когда они пробуждают дар, кровь у них будто загорается, под кожей проступают светящиеся жилы, глаза вспыхивают янтарём, а мир вокруг замедляется так, что можно разглядеть летящую стрелу. Но огонь сжигает их изнутри. Тот мальчишка держал его слишком долго. Он лежал на телеге серый, как пепел, и жилы на его руках были чёрными, будто выгоревшими. Лекарь сказал, что дар к нему уже не вернётся. Мальчишка не плакал. Он смотрел в небо и спрашивал, удержали ли крепость.

С теми же ранеными ехал Ткач — немолодой, с седыми висками и засохшей кровью под носом. Ткачи видят мир как сеть нитей: куда шагнёт враг, куда полетит стрела, чем закончится бой. Сильный Ткач может связать разумы целого отряда, и тогда воины сражаются как одно

тело, без слов и сигналов. Этот всю дорогу молчал и смотрел в одну точку, а когда я подала ему воды, вздрогнул, будто вернулся откуда-то издалека. Позже возница шепнул мне, что Ткачи, которые заходят в нити слишком далеко, иногда так и не возвращаются в настоящее.

Но больше всего в том обозе было простых солдат. Без всякого дара — только меч, щит и упрямство. Дар есть у одного из сотни, а войну держат на себе остальные девяносто девять. Их тоже учат в академии в Тэлмире, прежде чем отправить на границу, — и их гибнет больше всех. Я перевязала в тот день двенадцать человек. Один из них, веснушчатый парень с рассечённым лбом, всё время извинялся, что запачкал мне кровью фартук. Ему было семнадцать. Полгода назад он пас овец и никогда не держал в руках ничего острее пастушьего ножа.

И я не рассказывала ему о Хранителях.

Когда-то у светлых народов были люди с редким даром. Хранитель мог поднять барьер, сквозь который не проходило ничего: ни меч, ни стрела, ни тёмная магия. Говорили, что сильный Хранитель способен укрыть целый город, а несколько Хранителей вместе — целую страну. Говорили, что их барьер защищал даже разум и дравэны ничего не могли сделать с тем, кто стоял под его защитой. А ещё говорили, что барьер питается жизнью самого Хранителя и сильнее всего тогда, когда тот закрывает собой другого.

Поэтому скаррады начали с них.

В ночь, когда погас свет, почти все Хранители Валдара были в Высоком святилище — отдавали камню силу, как каждый год. Оттуда не вернулся ни один. Говорили, что после обряда им поднесли вино, а потом перерезали спящих. И что сделали это не скаррады — скаррадов там не было. Свои.

Тех, кого в ту ночь в святилище не было, оставалась горстка: кто стоял на дальних заставах, кто болел, кто был ещё слишком мал. Они не прятались. Они пошли на войну — все, кто мог поднять барьер, — и встали на стенах рядом с солдатами. И умирали один за другим, только не в бою. Их посылали туда, где уже ждала засада. Их убивали те, от кого не ждут удара: друг у костра, оруженосец в шатре, старая нянька. Говорили, что не щадили даже детей. Потому что дравены промывали им мозги.

Теперь говорят, что Хранителей не осталось. Ни одного.

Ило становился всё тяжелее у меня на руках — засыпал. Я смотрела в огонь, и в пламени, как почти каждый вечер, проступало то, о чём я не рассказывала никому.

Ночь. Запах дыма. Мамины руки, холодные и дрожащие, — она прижимает меня к себе так крепко, что больно дышать. Папин голос совсем рядом, спокойный, слишком спокойный: «Не бойся, Мирэль. Закрой глаза». Крики снаружи. Треск горящих брёвен. И свет — тёплый, золотистый. Он окружает нас со всех сторон, как кокон, и внутри почему-то совсем не страшно.

Потом свет гаснет.

Потом я просыпаюсь одна.

Мне было шесть. Я до сих пор не знаю, кто пришёл за моими родителями той ночью и почему. Не знаю, почему меня не нашли. Золотой свет я давно списала на детский сон, на отблески пожара, на что угодно — люди не светятся, это я знала точно. Иногда мне казалось, что мама с папой что-то скрывали. Мы слишком часто переезжали. Мама слишком внимательно вглядывалась в каждого незнакомца. Папа никогда не говорил, откуда мы родом.

Но спросить было уже не у кого.

* * *

Ило уснул, не дождавшись конца сказки. Так бывало почти всегда.

Я осторожно переложила его на свою лежанку, укрыла старым плащом и вышла на порог подышать.

Ивовый Брод спал. Деревня у нас крошечная: два десятка дворов, мельница у реки, брод, давший ей имя, и лес со всех сторон — такой густой, что солнце в нём бывает только в полдень. До ближайшего города неделя пути. Сюда редко заглядывают даже сборщики податей, и, может быть, поэтому война до сих пор обходила нас стороной. Здесь о ней знали по слухам и по тем, кто не возвращался.

Я пришла сюда одна, шестилетней, босая, в обгоревшей рубашке. Как добралась — не помню. Помню только, что меня пустила переночевать Велья — сухая, прямая, как жердь, старуха с цепкими руками и глазами, которые видели человека насквозь. Ночёвка растянулась на семь зим. Много позже я поняла, что в ту первую ночь Велья так и не легла: сидела у моей лежанки со свечой и смотрела на меня так, словно увидела призрака. А наутро сказала, что я остаюсь. Не спросила, хочу ли я. Просто сказала.

В деревне Велью считали травницей. Но травницы не держат в сундуке книги в промасленной коже, исписанные мелким почерком. Не знают, сколько в человеке костей и как называется каждая. Не умеют зашивать раны так, что через месяц не найдёшь шва. Велья умела всё это — и учила меня. Сурово, без поблажек, с рассвета до темноты. Как отличить целебную траву от ядовитой — и сколько нужно одной и другой, чтобы спасти, а сколько — чтобы убить. Как остановить кровь, вправить кость, сбить жар, вытянуть яд. Как слушать сердце, приложив ухо к груди. Как не дрожать, когда под пальцами чужая жизнь. А заодно — ставить силки, торговаться на ярмарке и не плакать при чужих.

— Когда-то я лечила королей, — сказала она мне однажды, накладывая лубок на сломанную ногу соседской козы. — Теперь лечу коз. Козы благодарнее.

Я рассмеялась, решив, что она шутит. Она не улыбнулась.

Правду я узнала за год до её смерти. Велья была придворным лекарем в Тэлмире — лучшим, какого знала столица. Она лечила самого короля, вытаскивала с того света раненых полководцев, и её имя знали в каждом лазарете Валдара. А потом однажды собрала сундук с книгами и уехала туда, где нет ни двора, ни войны.

— Устала, — только и сказала она, когда я спросила почему. — Вылечишь солдата, а через месяц его привезут снова — и лечить уже нечего. Я столько лет латала людей, чтобы их снова отправили на смерть. Хватит. И никому не говори, кем я была. Слышишь? Никому.

Больше она об этом не говорила.

Мне было тринадцать, когда её не стало. Хижина на краю деревни осталась мне — вместе с пучками трав под крышей, сундуком книг, которые я с тех пор перечитала десятки раз, и привычкой разговаривать с очагом, когда больше не с кем.

С тех пор я справлялась сама. Лекари в Брод не заезжали, и ко мне шли со всем: с порезами и переломами, с горячкой и зубной болью. Я вправила мельнику вывихнутое плечо, зашила кузнецу распоротую ладонь, дважды принимала роды. А ещё собирала травы и продавала их на мельнице. Ставила силки. Чинила крышу, когда она текла, и училась на своих ошибках, когда она текла снова. Деревенские меня не обижали, но и своей не считали: пришлая, без роду, без семьи. Мальчишки в детстве дразнили меня тростинкой за худобу и седой — за серебристые волосы, каких больше ни у кого в округе не было, — а когда подросли — перестали дразнить и начали краснеть. Я так и не поняла, что из этого хуже.

Ольса как-то сказала, что я слишком доверчивая для этого мира. Что я верю людям раньше, чем они это заслужат, и однажды это выйдет мне боком. Может быть, она была права. Но я не умела иначе. Мама говорила, что в каждом есть свет, просто иногда его нужно поискать. Я искала. Иногда даже находила.

На прошлой неделе через Брод проходил отряд солдат — усталых, запылённых, с пустыми глазами. Они скупили у меня всю полынь и отвар от лихорадки, а за ужином у мельника рассказывали, что на границе снова отступили. Что пала ещё одна крепость. И что, если бы не генерал Кайрен со своим отрядом, отступать пришлось бы куда дальше.

— Младший принц, — объяснял один из них, совсем молодой, с повязкой на руке. — Сам выслужился, без отцовских поблажек. Говорят, он один стоит сотни.

— Говорят, у него вместо сердца камень, — хмыкнул другой. — Никто ни разу не видел, чтобы он улыбнулся.

Я слушала и думала, что это, наверное, очень одиноко — быть человеком, о котором рассказывают такое.

Ночь была тихой. Слишком тихой — я поняла это не сразу.

Не пели сверчки. Не перекликались совы в лесу. Даже река у брода, казалось, шумела тише, будто боялась, что её услышат. Собака мельника, которая лаяла на каждую тень, сидела у забора, прижав уши, и мелко дрожала.

А потом над лесом поднялись птицы. Все разом — сотни, тысячи — чёрной тучей, с таким криком, что у меня похолодело внутри. Они летели прочь от дальней опушки, туда, где за деревьями начиналась старая дорога.

Я смотрела туда и не могла пошевелиться.

Между стволами двигались тени. Высокие, молчаливые, слишком ровные для зверей. Их было много. И они шли к деревне.

За моей спиной, в хижине, во сне тихо вздохнул Ило.

Глава 2
Тени над Бродом

Первой мыслью было: Ило.

Не бежать. Не кричать. Ило.

Я влетела в хижину, сдёрнула с него плащ и подхватила на руки — тёплого, сонного, тяжёлого.

— Мирэль? — пробормотал он, не открывая глаз. — Уже утро?

— Нет, маленький. Мы с тобой играем в прятки.

Голос почти не дрожал. Велья бы мной гордилась.

Под лежанкой, под старой медвежьей шкурой, был люк в погреб, где Велья хранила коренья и самые ценные настойки. Тесная яма, пахнущая землёй и мятой, но сухая и глубокая. Я опустила туда Ило, сунула ему недоеденную лепёшку и укутала своим плащом.

— Слушай меня внимательно. — Я взяла его лицо в ладони. Ило уже проснулся и смотрел на меня круглыми глазами. — Сиди здесь тихо-тихо, как мышка. Что бы ты ни услышал. Даже если позову я — не выходи, пока не скажу наше слово. Помнишь его?

— Айвэрин, — шёпотом сказал он.

— Умница.

Я закрыла люк, надвинула сверху шкуру и на миг прижалась к ней лбом. Потом сорвала с крюка Вельин охотничий нож — единственное настоящее оружие в доме — и выскочила наружу.

Тени уже вышли из леса.

Теперь я видела их ясно. Высокие, в доспехах цвета пепла, без единого блика, будто сама ночь надела на себя железо. Они не бежали и не кричали. Они шли — спокойно, неторопливо, как хозяева идут по собственному двору. И от этого спокойствия у меня подгибались колени сильнее, чем от любого боевого клича.

Скаррады.

Слово, которое я столько раз шептала в сказках, вдруг перестало быть сказкой.

Деревня ещё спала. Никто ничего не видел. Ещё минута — и будет поздно.

Я побежала.

Колокол висел на столбе у мельницы — старый, позеленевший, в него били только при пожаре. Я неслась к нему по спящей улице, мимо тёмных окон, мимо плетня, где сушились Ольсины рубахи, и сердце колотилось где-то в горле. Сзади вспыхнул первый дом. Потом второй. Кто-то закричал — коротко, страшно, и крик оборвался. Я узнала голос: старый Мирон, наш ночной сторож. Он всегда первым просыпался на любой шорох. Сегодня — в последний раз.

Я вцепилась в верёвку и рванула её изо всех сил.

Колокол взвыл над Ивовым Бродом, хрипло и надсадно, и я била в него снова и снова, пока не заболели ладони.

— Вставайте! — кричала я. — Скаррады! Бегите к реке, за брод, в лес на том берегу!

Захлопали двери. Заплакали дети. Люди выскакивали из домов полуодетые, растерянные, не понимая, откуда огонь и почему так надрывается колокол. Одни бежали к реке. Другие — навстречу пожару, к своим горящим сараям и скотине.

А тех, кто бежал навстречу, встречали тени.

Я видела всё. И до сих пор, стоит мне закрыть глаза, вижу это снова.

Пастух Тамир выскочил из хлева с вилами — молодой, весёлый, на будущий месяц у него была назначена свадьба. Скаррад не стал уклоняться. Он поймал вилы латной перчаткой,

вырвал их у Тамира из рук и вогнал ему в живот. Неторопливо. Глядя в лицо. А потом стоял и смотрел, как Тамир оседает на колени, цепляясь за древко, как изо рта у него течёт тёмное. Смотрел — и улыбался.

Они не спешили. Вот что было страшнее всего. Они могли убивать быстро — и не убивали. Им нравились крики. Нравилось, как люди ползут по грязи, как цепляются за землю, как зовут своих. Для них это была музыка, и они не хотели, чтобы она кончалась.

Бабка Марфа, которая пекла на всю деревню пироги с брусникой, бежала к реке, таща за руки двух внучек. Наперерез ей вышел скаррад без оружия и просто коснулся её плеча — легко, почти ласково. И Марфа высохла. Прямо у меня на глазах. Кожа посерела и пошла трещинами, как старая кора, волосы осыпались пеплом, и она упала — лёгкая, пустая, будто от неё осталась одна оболочка. Девочки закричали. Иссушающий наклонился и протянул руку к младшей.

— Не смей! — заорала я.

Под ногами валялась горящая жердь от рухнувшего плетня. Я схватила её, не чувствуя жара, и со всей силы швырнула в иссушающего. Жердь ударила его в спину и рассыпалась снопом искр. Он медленно выпрямился и обернулся ко мне — с любопытством, будто впервые заметил, что мышь умеет кусаться.

Этого мига хватило. Старшая, Лада, — ей было десять, — схватила сестрёнку в охапку и нырнула под телегу.

Иссушающий шагнул ко мне. Я выхватила Вельин нож и не отступила ни на пядь. Руки тряслись, сердце билось в горле, но я стояла. За моей спиной была телега, а под ней — две девочки. Ещё шаг — и тут с оглушительным треском обрушилась горящая крыша сарая, завалив улицу между нами пылающими брёвнами. Когда дым рассеялся, его уже не было. Только где-то за огнём раздался смех — и новые крики.

Улица превратилась в ад. Пылали крыши, с них, треща, сыпались горящие охапки соломы. Дым ел глаза, забивался в горло, пах палёным волосом и чем-то сладковатым, тошнотворным, о чём я запрещала себе думать. В запертом хлеву истошно ревела корова. Кто-то звал маму — тонко, без передышки, и никто не отзывался. Под ногами чавкала грязь, и я не сразу поняла, что это не только грязь.

Кровь была везде. На ступенях крылец, на плетнях, на белёных стенах, по которым кто-то пытался вскарабкаться и не успел. В отсветах пожара она блестела чёрным, как смола. И она была тёплой. Я знаю, потому что поскользнулась и упала в неё руками.

Рядом лежала Нина, жена гончара. Ещё вчера мы торговались с ней за горшок для отвара, и она уступила мне медяк, потому что «тростинке надо кушать». Она была жива. Смотрела на меня и пыталась что-то сказать, а из раны на шее толчками выплёскивалась кровь — и с каждым толчком слабее.

Я зажала рану ладонями. Велья учила: если кровь бьёт, дави и не отпускай. Я давила изо всех сил. Кровь сочилась сквозь пальцы, горячая, скользкая, текла по запястьям в рукава. «Держись, — шептала я. — Пожалуйста, держись. Сейчас, сейчас…» Нина смотрела на меня. Потом — сквозь меня. Потом — никуда.

Я не сразу поняла, что держу мёртвую.

Я посмотрела на свои руки — красные до локтей. К горлу подкатила тошнота. Я сглотнула её. «Плакать будешь потом, — говорила Велья, когда к нам приносили изувеченных на лесоповале. — Сначала работа».

Мне было страшно. Так страшно, как не бывало никогда в жизни, — до ледяных пальцев, до звона в ушах. Но страх не гнал меня прочь. Он поднимался во мне и переплавлялся во что-то другое — горячее, злое, яростное. Эти люди пекли мне хлеб. Приносили молоко, когда я болела. Звали на свадьбы, хоть и считали чужой. А эти твари убивали их — смеясь, со вкусом, как кошка играет с добычей.

Нет. Не позволю. Не знаю как, но не позволю.

Я вытерла руки о юбку и поднялась.

Под телегой плакали Марфины внучки. Я сама не помню, как оказалась рядом. Вытащила их, грязных, перепуганных, — Лада вцепилась в меня так, что ногти впились в кожу, — и толкнула к броду, туда, где у воды уже собирались уцелевшие.

— Бегите! — Голос сорвался на хрип. — К реке! Не оглядывайтесь! Слышишь, Лада? Не оглядывайтесь!

Они побежали. Две маленькие фигурки в отсветах пожара. Я смотрела им вслед, пока их не скрыл дым.

Мне тоже было куда бежать — за ними, к воде, на тот берег. Но за спиной ещё кричали люди. Ещё горели дома, в которых кто-то мог остаться. Я покрепче сжала Вельин нож — для скаррада в доспехах он был не оружием, а игрушкой, я знала это, — и повернулась к огню.

И первым, кого я увидела в отсветах пожара, был Варун.

Кузнец выбежал из кузни с молотом в руках — огромный, бородатый, самый сильный человек в деревне. Он мог бы уложить одного из них. Может, даже двоих. Но навстречу ему вышел скаррад без оружия. Просто остановился в трёх шагах и посмотрел на него.

Я не видела его глаз. Видела только, как Варун замер. Как дрогнуло его лицо — будто изнутри на него взглянул кто-то чужой. А потом кузнец медленно обернулся к собственному дому, где на пороге стояла его жена с младенцем на руках, и поднял молот.

— Варун, нет! — заорала я.

Он не услышал. Его жена — услышала. Она успела захлопнуть дверь за миг до удара, и молот разнёс в щепки доски, а не её голову. Дравэн рассмеялся. Тихо, почти ласково, как смеются над неуклюжим щенком.

Я бросилась туда, сама не зная зачем, — и споткнулась.

У мельничного колеса, в тени, лежала женщина. Платок сбился, светлые волосы рассыпались по мокрым доскам. Одна рука была откинута в сторону, будто она хотела до чего-то дотянуться.

Ольса.

Вдова Ольса, которая по утрам угощала меня свежей мукой. Которая называла меня слишком доверчивой. Которая сегодня так и не пришла за сыном.

Я стояла над ней и не могла вдохнуть.

— Какая славная, — сказал кто-то совсем рядом.

Я обернулась.

Дравэн стоял в двух шагах. Тот самый — я узнала его по смеху. Вблизи он был почти красив: бледное, тонкое лицо, гладкое, как у статуи, и глаза — светлые, почти белые, без единой искры. Он разглядывал меня с любопытством, как разглядывают редкую бабочку, прежде чем проткнуть её булавкой.

А потом посмотрел по-настоящему.

Это было похоже на ледяную воду, хлынувшую в голову. В уши полезли голоса — мои собственные, только злые и чужие. *Ты одна. Ты всегда была одна. Они бросили тебя — мать, отец, — бросили и даже не сказали почему. Деревня терпела тебя из жалости. Никто не заплачет, если ты умрёшь. Никто даже не заметит.* Слова впивались в меня, как крючья, и тянули наружу то тёмное, о чём я запрещала себе думать долгими зимними ночами. Обиду. Злость. Одиночество, такое огромное, что в нём можно было утонуть.

Это были не мои мысли — его. Но они звучали моим голосом, и нож выскальзывал из ослабевших пальцев, и чужая воля тянула меня вниз — лечь рядом с Ольсой, закрыть глаза и больше никогда не вставать. Я стиснула зубы и сопротивлялась из последних сил.

И тогда в груди что-то потеплело.

Совсем чуть-чуть. Как уголёк в остывшей золе, который вдруг вспыхнул от случайного вздоха. Тепло толкнуло голоса прочь, и они отхлынули, как волна от берега. Я моргнула. Крепче сжала нож.

Дравэн наклонил голову набок.

— Интересно, — протянул он. — Ты не ломаешься.

— Отойди от меня, — выдохнула я.

— Ну что ж. — Он вытянул из-за пояса длинный изогнутый клинок. — Значит, по-простому.

Я ударила первой. Велья учила: если уж драться, то бить первой и не раздумывая. Нож чиркнул по его доспеху и соскользнул. Дравэн даже не стал уклоняться. Он перехватил моё запястье, вывернул так, что нож со звоном улетел в темноту, и отшвырнул меня, как тряпичную куклу.

Я упала спиной на мокрые доски. Воздух вышибло из груди. Надо мной качнулось небо — чёрное, в искрах пожара.

Дравэн встал надо мной и поднял клинок.

Я не зажмурилась. Если уж умирать, то глядя ему в глаза, — пусть видит, что я его не боюсь. «Прости, Ило», — успела подумать я.

Клинок пошёл вниз.

И остановился.

Клинок дравэна замер в ладони от моего лица, перехваченный чужой рукой.

Я не поняла, откуда он взялся. Только что над мельничной пристанью никого не было — и вот он стоит, и воздух вокруг него дрожит от жара, как над раскалённой кузней. Под кожей его руки, сжимавшей вражеское лезвие голыми пальцами, светились янтарные жилы.

Дравэн успел повернуть голову. Больше он не успел ничего.

Я даже не увидела удара. Только блеснула сталь, и скаррад осел на доски рядом со мной, а его белёсые глаза так и остались открытыми — удивлёнными.

Тот, кто меня спас, отбросил чужой клинок в реку и обернулся.

Высокий — так что мне, лежащей на досках, пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть его лицо. Широкие плечи под тёмной кожаной бронёй, сильная шея, узкие бёдра — в нём не было ни капли лишнего, только выточенная годами сила, как в хорошо закалённом клинке. Он стоял спокойно, чуть расставив ноги, опустив меч острием к земле, — и всё равно казалось, что он движется, что в любой миг может сорваться с места, как стрела с натянутой тетивы. На его руках — сильных, с проступающими венами, со старыми белыми шрамами на костяшках — ещё тлели, угасая, янтарные жилы.

А лицо…

Сказочники на ярмарке в Броде иногда пели о красивых принцах, и я всегда представляла их золотоволосыми и нежными, как на расписных шкатулках. В этом лице не было ничего нежного. Оно было вырезано резко и чисто, одним уверенным движением, как вырезают на монетах профили древних королей. Высокие скулы. Прямой нос. Твёрдый подбородок с тёмной тенью небритой щетины. Жёсткая, упрямая линия губ — такие губы, наверное, редко улыбаются. Тёмные волосы, мокрые от пота, падали на лоб, на скуле алела свежая царапина, а по виску стекала тонкая струйка чужой крови. И всё это — сажа, кровь, усталость — не портило его, а делало только ещё более настоящим. Красивым той суровой, опасной красотой, которая бывает у грозового неба, у зимнего леса, у обнажённого меча.

Янтарный огонь в его глазах медленно гас, и под ним проступал настоящий цвет — серый, как сталь, под тёмными прямыми бровями и густыми ресницами. И такой же холодный.

Я смотрела на него и забыла, как дышать. Но на этот раз не от страха.

Это было глупо. Вокруг горела деревня, у мельничного колеса лежала Ольса, где-то кричали люди, а моё сердце, которое минуту назад готовилось остановиться, вдруг забилось так,

будто решило наверстать всё упущенное разом. Мне хотелось запомнить его лицо до последней чёрточки. Хотелось, чтобы он посмотрел на меня ещё хоть мгновение.

Он посмотрел — быстро, оценивающе, как смотрят на поклажу, проверяя, не развязались ли ремни.

— Ранена?

Я мотнула головой. Голос куда-то пропал.

— Тогда к реке. Быстро.

И он исчез. Просто исчез — размытое янтарное пятно метнулось через улицу к горящим домам, туда, где кричали громче всего. Ни взгляда через плечо. Ни слова больше.

Я села, держась за ушибленный затылок, и глупо смотрела ему вслед.

«К реке. Быстро». Как собаке.

Почему-то обиднее всего было именно это.

А улица больше не принадлежала скаррадам.

Я не знаю, сколько воинов пришло с ним. Сначала казалось — десятки, потом я поняла, что их всего горстка. Просто двигались они так, будто их было втрое больше.

Огромный бородач, шире нашего кузнеца в плечах, с рёвом подхватил скаррада в доспехах, поднял над головой, как мешок с отрубями, и швырнул через забор прямо в реку.

— Остынь, малыш! — гаркнул он ему вслед и, развернувшись, огрел второго кулаком, на котором полыхали янтарные жилы.

Мимо меня пронеслось что-то быстрое, рыжее и смеющееся. Девушка с двумя короткими клинками — я разглядела её, только когда она на миг остановилась, вытирая лезвие о плащ поверженного врага.

— Тридцать один! — крикнула она в темноту. — Генерал, слышишь? Я говорила, их больше двадцати! С тебя ужин!

Ответа не было. Но девушка ухмыльнулась так, будто его получила.

Генерал. Я вспомнила солдат за ужином у мельника. Младший принц, который один стоит сотни. Человек, у которого вместо сердца камень.

С крыши мельницы бесшумно летели стрелы — одна за другой, и каждая находила цель. Двое — парень и девушка, похожие, как отражения в воде, — бились спина к спине, и казалось, у них одна голова на двоих. А посреди площади, на краю колодезного сруба, стоял худой человек с закрытыми глазами. Он не сражался. Его пальцы чуть шевелились, будто перебирали невидимые струны, а губы беззвучно что-то считали. И я вдруг поняла: каждый из воинов двигался так, будто слышал его. Будто все они были одним телом, а он — его головой.

Ткач. Как тот, из обоза.

Я поднялась, не дожидаясь, пока меня поднимут. Затылок гудел, перед глазами плыло, но у плетня кто-то стонал, и я пошла туда.

Седой воин с перевязанной рукой как раз взваливал на плечо старого мельника. Нога у мельника была рассечена выше колена, и кровь хлестала толчками, заливая сапог.

— Стойте! — Я упала рядом на колени и рванула подол своей рубашки. — Он истечёт кровью, пока вы его донесёте!

Воин уставился на меня так, будто я была ещё одним скаррадом. Но остановился. Я перетянула мельнику ногу выше раны, затянула узел зубами, просунула под него обломок жерди и крутила, пока кровь не остановилась. Руки дрожали. Узел вышел ровным — так, как учила Велья.

— Теперь несите, — выдохнула я.

Седой воин посмотрел на жгут, потом на меня.

— Генерала слышала? — буркнул он, но уже без злости. — К реке. Бегом.

Он взвалил мельника на плечо и тяжело зашагал к броду. Я пошла следом, придерживая раненую ногу, чтобы жгут не соскользнул. У воды уже собирались уцелевшие: мокрые, трясущиеся люди выбирались на тот берег, прижимая к себе детей.

Детей.

Я обернулась к краю деревни — туда, где стояла моя хижина. Над ней поднимался дым.

Ило.

* * *

Я бежала так, как не бегала никогда в жизни.

Мимо горящих сараев, мимо тел, на которые запрещала себе смотреть, через огород, где под ногами хрустели сухие стебли. Крыша хижины горела с одного угла — там, куда упала искра от соседского стога. Дверь была распахнута настежь.

Я влетела во двор и замерла.

На пороге, спиной ко мне, стояла на коленях женщина. Светлые волосы, сбившийся платок, знакомая латаная юбка. Она склонилась над откинутым люком погреба и протягивала вниз руки.

— Иди ко мне, Ило, — ласково говорила она голосом Ольсы. — Иди к маме, сынок. Не бойся. Мама пришла.

Я велела ему не выходить, даже если позову я. Но не сказала — даже если позовёт мама. Ему пять лет. Какой пятилетний мальчишка не выйдет к маме?

Из погреба показалась светлая макушка. Потом испуганное заплаканное лицо. Ило вскарабкался по ступенькам и бросился в протянутые руки.

— Мама!

А у меня перед глазами стояли мокрые доски у мельничного колеса и откинутая в сторону рука.

— Отойди от него! — закричала я.

Женщина обернулась.

У неё было лицо Ольсы — до последней веснушки, до маленького шрама над бровью. И улыбка была Ольсина, добрая, чуть усталая. Только глаза… В глазах не было ничего. Светлая, белёсая пустота.

А потом лицо поплыло.

Оно потекло, как воск над свечой, — щёки, губы, веснушки, — и под ним проступило другое: гладкое, бледное, без возраста и без выражения. Безликий. Он заглянул в память Ило и надел лицо того, кого мальчик любил больше всех. А Ило ещё обнимал его за шею, ещё ничего не понимал, а в руке скаррада уже блеснул узкий кинжал.

Он занёс его над светлой детской макушкой.

Я была слишком далеко. Я знала, что не успею — десять шагов, восемь, шесть, — и всё равно бежала, и мир вокруг вдруг стал медленным и вязким, как мёд. Я видела, как поднимается кинжал. Видела, как Ило наконец поднимает голову и его лицо искажается от ужаса. Видела искру пожара, отразившуюся на лезвии.

«Нет. Только не он. Возьми что хочешь — только не он».

Я не знаю, как успела. Я вырвала Ило из чужих рук, прижала к себе и упала на колени, закрывая его собой — спиной к кинжалу. Обхватила так крепко, как когда-то обхватывала меня мама, и зажмурилась, ожидая удара.

И внутри меня вспыхнуло солнце.

Тот самый уголёк, что согрел меня у мельницы, вдруг разгорелся в пламя — не обжигающее, а тёплое, золотое, огромное. Оно рванулось из груди наружу, через руки, через кожу,

через каждый вздох. Я услышала звон — тонкий, хрустальный, будто лопнула струна, — и пронзительный визг.

Я открыла глаза.

Мы с Ило были внутри света.

Золотой купол накрыл нас, весь двор и половину горящей хижины. Он переливался, как солнце сквозь воду, и в нём совсем не было страшно. За его стеной корчился на земле безликий, сжимая рукоять без клинка: лезвие разлетелось в пыль. Чуть дальше, у плетня, другой скаррад — дравэн, судя по пустым белёсым глазам, — схватился за голову и выл, будто его собственный взгляд ударил его в ответ.

А потом стало тихо.

Не только во дворе. Везде. Вся деревня, весь бой — всё будто замерло. Сквозь золотое марево я видела, как оборачиваются люди. Как застыла на полушаге рыжая девушка с клинками. Как бородач опустил кулак. Как седой воин, что гнал меня к реке, медленно стянул с головы шлем.

Этот свет. Тёплый, золотистый, как кокон. Из той ночи.

Мама.

— Хранительница, — хрипло сказал седой воин. В тишине его голос прозвучал громче колокола. — Во имя всего светлого… Хранительница.

— Это невозможно, — выдохнула рыжая девушка. — Их же всех… Хальдор, их же всех перебили!

Ило ревел у меня на груди — живой, тёплый, мокрый от слёз. Я гладила его по голове и не могла вымолвить ни слова. Я ничего не понимала. Знала только одно: этот свет нельзя отпускать. Пока он горит, Ило в безопасности.

Безликий попытался отползти. Он почти добрался до края двора, когда из темноты метнулась янтарная тень, и скаррад затих навсегда.

Генерал выпрямился над ним, опустил меч — и впервые посмотрел на меня по-настоящему.

Не как на поклажу. Не как на ещё одну спасённую в длинной череде спасённых. Он смотрел так, будто увидел то, чего не может быть. Чего не бывает. Холод в его серых глазах дал трещину, и сквозь неё проступило то, чего я никак не ожидала там увидеть.

Потрясение.

Он медленно подошёл к самому краю купола и протянул руку. Свет не пустил его — мягко, но непреклонно, как стена.

А свет тем временем пил меня.

Я поняла это не сразу. Сначала просто замёрзли пальцы. Потом стало трудно держать голову. Купол сиял так же ярко, но каждый вдох давался тяжелее предыдущего, будто кто-то вытягивал из меня тепло — капля за каплей, нитка за ниткой. Перед глазами поплыли тёмные пятна.

Но отпустить я не могла. Вдруг там, за стеной, ещё кто-то с кинжалом…

— Отпусти, — сказал генерал.

Он присел на корточки по ту сторону света, так что наши лица оказались почти вровень. Голос у него был негромкий, ровный — и совсем не такой, каким он бросил мне «к реке».

— Слышишь меня? Всё кончено. Здесь больше нет врагов. Ребёнок в безопасности. — Он помолчал. — Я обещаю.

Я не знала его. Не знала даже его имени. Но почему-то поверила — сразу и до конца.

Я разжала пальцы — не руки, а что-то внутри, о существовании чего не подозревала ещё четверть часа назад. Золотой свет вздрогнул, побледнел и рассыпался искрами, как догоревший костёр.

Мир качнулся.

Последнее, что я почувствовала, — как чьи-то сильные руки подхватывают меня у самой земли, а кто-то другой бережно забирает у меня Ило. Последнее, что я увидела, — серые глаза совсем близко.

— Кто ты такая? — тихо спросил он.

Я хотела ответить. Правда хотела.

Но темнота оказалась быстрее.

Глава 3
Нити

Кайрен

Я вижу нити с семи лет.

Отец говорит, что впервые это случилось на учебном дворе: мастер меча замахнулся на меня деревянным клинком, а я отступил за миг до того, как он решил ударить. Сам я этого не помню. Помню только, что с тех пор мир для меня никогда не был простым. Каждый человек, каждый шаг, каждый взмах меча тянет за собой десятки светящихся нитей — куда он может пойти, что может сделать, чем всё может закончиться. Ткачи учатся читать их, как книгу. Я научился читать их раньше, чем грамоту.

И ещё раньше усвоил главное правило: чувства путают нити. Испугался — нити дрожат. Разозлился — рвутся. Пожалел кого-то не вовремя — и не увидишь удара, который летит тебе в спину.

Поэтому я не пугаюсь. Не злюсь. И не жалею. По крайней мере, в бою.

Сегодня в Ивовом Броде я видел всё. Тридцать два скаррада, вышедших из леса. Нити их клинков, протянутые к спящим домам. Девчонку у мельницы с охотничьим ножом против дравэна — её нить обрывалась через три удара сердца, и я успел. Потом были другие нити и другие люди. Её лица я не запомнил. Зачем? Она была одной из многих.

А потом над краем деревни поднялся золотой свет.

И все нити исчезли.

Не порвались, не спутались — исчезли. Там, где стоял купол, для меня была пустота. Ни одной нити, ни одного возможного шага, ни одного «что будет дальше». Впервые в жизни я смотрел на что-то и не знал, что произойдёт в следующий миг.

Я стоял у края этого света и не мог отвести глаз от барьера. Внутри, на коленях, сидела та самая девчонка с мельницы. Серебристые волосы перепачканы сажей, на руках ребёнок. Хрупкая — казалось, дунь, и сломается. Но на безликого она смотрела так, будто готова была вцепиться ему в горло голыми руками, и глаза её горели зелёным, ярче изумрудов. И она держала барьер, о котором Хальдор рассказывал нам с Алдреном у костра, когда мы были детьми. Барьер, которого никто не видел уже много лет. Которого не должно было существовать.

Теперь я нёс её к реке, и весила она не больше охапки хвороста.

— Генерал. — Хальдор шёл рядом, держа за руку зарёванного мальчишку. — Давай понесу.

— Сам.

Он не стал спорить. Хальдор знает меня с пелёнок и знает, когда спорить бесполезно.

Мальчишка поднял на меня опухшие от слёз глаза.

— Она умрёт?

— Нет.

— Ты обещаешь?

Я посмотрел на бледное лицо у себя на плече. Дыхание слабое, но ровное. Барьер выпил из неё больше, чем следовало, но не всё.

— Обещаю, — сказал я. За одну ночь — второе обещание. Для меня это много.

— Её зовут Мирэль, — сообщил мальчишка, будто это всё объясняло.

Мирэль.

Я запомнил имя. С этой ночи за неё отвечал я.

Лагерь разбили на том берегу, у самой опушки. Из деревни уцелело чуть больше половины, и теперь эти люди сидели вокруг костров, закутанные в наши плащи, и смотрели в огонь пустыми глазами. Я знаю этот взгляд. Видел его в каждой деревне, до которой мы успевали. В тех, до которых не успевали, смотреть было уже некому.

Мирэль я уложил у самого большого костра, на свой плащ. Мальчишка тут же свернулся у неё под боком, как котёнок, и уснул, вцепившись в её рукав. Никто не стал его отрывать.

Торвин уже колдовал над котлом. От Огнекровных после боя всегда пахнет жаром и голодом, а от Торвина — ещё и луком: он единственный известный мне воин, который возит в седельной сумке приправы.

— Держи, малыш. — Он сунул мне миску с похлёбкой. — И не делай такое лицо. Ты сегодня горел дольше всех, я видел.

Я хотел сказать, что не голоден. Но руки предательски дрожали, а внутри было так пусто, будто огонь выел меня до самого дна. Цена двойного дара: Огнекровный горит, Ткач смотрит, и платить приходится за обоих сразу. Я сел на бревно и молча начал есть.

Любого другого такая цена свалила бы за год. Огнекровные, которые горят столько, выгорают. Ткачи, которые столько смотрят в нити, теряют настоящее. Я не выгорел не потому, что родился сильнее других. С семи лет Хальдор каждое утро ставил меня держать огонь на ладони — пока не начинала идти носом кровь, и ещё на один вдох дольше. А потом держать нити — стоя по пояс в ледяной реке, голодным, невыспавшимся. И снова на один вдох дольше. Каждый день, год за годом. «Дар тебе дали даром, — ворчал он. — А волю ты скуёшь сам. Другой дороги нет». Эти лишние вдохи, набранные за годы, и были теперь разницей между мной и мёртвыми.

Что-то тёплое потекло по губе. Я вытер нос тыльной стороной ладони — на коже осталась кровь.

— Опять? — Рэя плюхнулась рядом, отобрала у меня ложку, зачерпнула из моей же миски и с удовольствием прожевала. — Слишком долго держал нити. Феран тебе сто раз говорил.

— Отдай ложку.

— Сначала признай, что я выиграла. Их было больше двадцати. С тебя ужин в Тэлмире. В «Золотом гусе». С пирогом.

— Ты сейчас ешь мой ужин.

— Это не считается, это похлёбка.

Напротив прыснули близнецы. Тэм и Тэя сидели, привалившись друг к другу плечами, оба перемазанные сажей до ушей.

— Генерал проиграл пари, — торжественно сообщил Тэм.

— Генерал нёс девушку на руках через реку, — так же торжественно добавила Тэя. — И отказался отдать её Хальдору.

— Генерал никому ничего не отдаёт, — подхватил Тэм. — Но девушку — особенно.

— Ещё слово, — сказал я, — и оба пойдёте в ночной дозор. До самой Тэлмиры.

Они переглянулись с одинаковыми ухмылками и одинаково замолчали. Ненадолго, я знал.

С ветки над нами бесшумно соскользнула Нэйла, села у огня и протянула руки к теплу. Она не сказала ни слова. Просто посмотрела на спящую Мирэль, потом на меня — и чуть приподняла бровь. Я выдержал её взгляд. Скрывать мне было нечего: я вынес из огня Хранительницу, и теперь она — моя ответственность. Только и всего.

Феран подошёл последним. Он всегда приходит последним — сначала досчитывает.

— Тридцать два, — сказал он, садясь. Лицо у него было серое, под глазами залегли тени: держать сеть на весь отряд дорого стоит. — Тридцать два скаррада вышли из леса. Я считал по нитям.

— И?

— Тел на улицах — тридцать одно.

Смех у костра стих.

— Одного не хватает, — сказал Феран. — Дравэна. Того, у плетня, которого ударил барьер. Когда свет погас, я потерял его нить.

Мы долго молчали. Трещали поленья. Где-то у дальних костров тихо плакала женщина.

— Он видел, — наконец сказала Рэя. Без улыбки. Когда Рэя перестаёт улыбаться, это всегда плохой знак.

— Он мог не понять, что видел, — возразил Тэм, но неуверенно.

— Это был дравэн, — сказал Феран. — Барьер отбросил его собственную силу ему же в голову. Он понял.

Я посмотрел на Хальдора. Старик сидел чуть в стороне, вертел в пальцах шлем и смотрел на Мирэль. Смотрел так, как я никогда раньше не видел, — будто сквозь неё, в далёкое прошлое.

— Хальдор.

Он поднял голову не сразу.

— Я видел Хранителей, — медленно сказал он. — В первую зиму войны. Их тогда оставалась горстка — тех, кого в ту ночь не было в святилище, — и каждый держал целую крепость. Я стоял под таким барьером, когда на нас шли поднятые мертвецы. Снаружи — ад. Внутри — тихо, как в храме. — Он помолчал. — Знаешь, что я понял тогда? Скаррады боятся только одного. Не наших мечей. Не Огнекровных и не Ткачей. Этого света. Потому и начали с них.

— А её свет? — спросил я. — Такой же?

Хальдор долго не отвечал.

— Золотой, — сказал он наконец. — У большинства барьер был серебристым. Золотой я видел только однажды. У одной Хранительницы.

— Кто она?

— Неважно. — Он отвернулся к огню. — Она погибла. Давно.

Я видел нити Хальдора: он не лгал. Но и всей правды не говорил. Я решил не давить. Не сегодня.

— Значит, так, — сказал я, и все повернулись ко мне. — Если тот дравэн доберётся до своих, через неделю о ней будут знать в Нархате. А через две за ней придут. Не тридцать скаррадов. Сотни.

— Спрятать её? — предложил Тэм. — В глуши, под чужим именем?

— Её родители, похоже, так и пытались, — тихо сказал Хальдор. — Глушь не спасла.

— В деревне полсотни человек видели купол, — добавил Феран. — Через месяц об этом будут петь в каждой таверне от Брода до столицы. Слухи не остановить.

— Значит, надо успеть раньше слухов, — сказал я.

Я посмотрел на спящую Мирэль. На её тонкие пальцы, всё ещё сжимавшие рукав мальчишки. Она понятия не имела, кто она такая. Не умела управлять своим даром. Не знала, что барьер, если его не обуздать, может выпить её досуха. Сегодня она дважды чуть не умерла — и во второй раз от собственной силы.

Ей нужна была защита. Но ещё больше ей нужно было научиться защищать себя самой.

— Академия, — сказал я.

Хальдор медленно кивнул. Феран прищурился, перебирая в голове нити.

— Самое защищённое место в Валдаре после дворца, — сказал он. — Стены, ветераны, сотни воинов вокруг. И там найдутся те, кто научит её хотя бы основам.

— В академии никто не учил Хранителей уже двадцать лет, — заметила Рэя.

— Значит, научатся заново, — сказал я. — Утром выступаем в Тэлмиру. По дороге — никому ни слова. Если спросят, она беженка из Брода. Отцу я доложу сам, лично.

Я подумал о доме. Об отце, который выслушает молча, не перебивая, а потом скажет одно слово, от которого будет зависеть всё. О матери, которая первой спросит не «что это значит для войны», а «как она». Об Алдрене — брат поймёт всё с полуслова, он всегда понимал. И о дяде Эле, который, едва услышав, что я снова полез в самое пекло, отчитает меня так, что уши загорятся, а потом подмигнёт и спросит, хорошенькая ли хоть Хранительница.

Впервые за долгие месяцы мне захотелось домой.

* * *

Отряд разошёлся по дозорам и спальным местам. Лагерь затих. Я остался у костра сторожить. Дозорных хватало и без меня, но Хранительницу, о которой знает сбежавший дравэн, я не доверил бы никому.

Мирэль спала беспокойно. Хмурилась во сне, вздрагивала. Мальчишка сопел у неё под боком, и каждый раз, когда она вздрагивала, она крепче прижимала его к себе. Даже сейчас. Даже без сознания.

Я смотрел на неё и думал о том, что теперь будет.

Я видел нити каждого в этом лагере. Нить Торвина, храпящего у телеги. Нить Нэйлы на ветке над дорогой. Нити беженцев, дозорных и даже совы, что охотилась у реки. Всё было на своих местах. Всё было понятно.

Кроме неё.

Купол давно погас, но вокруг Мирэль нити по-прежнему вели себя странно. Они не исчезали, как там, во дворе, — они дрожали. Путались. Расплывались, стоило мне посмотреть на неё слишком долго. Будто я смотрел на них сквозь воду.

Остатки барьера, решил я. Её сила ещё не улеглась и глушит мой дар, как туман глушит звуки. Рядом с ней я вижу, как сквозь мутное стекло.

Я отвёл взгляд и уставился в огонь.

Любопытно. И опасно. Надо спросить Хальдора, бывало ли так рядом с другими Хранителями, и предупредить Ферана: если рядом с ней путаются нити у одного Ткача, могут спутаться и у всей сети.

Мирэль что-то пробормотала во сне.

— Мама… не уходи…

Её пальцы шевельнулись, будто искали чью-то руку. Не нашли. Сжались в кулак.

С семи лет я учился ничего не чувствовать. Я терял друзей и хоронил солдат, которые были младше меня. Я смотрел, как горят деревни, и не позволял себе отвернуться, потому что отвернувшийся генерал — это мёртвая армия. Я умел быть камнем. Солдаты не зря так говорили.

Эта девушка была самым ценным, что Валдар обрёл за двадцать лет войны. И самым уязвимым.

Отвечать за неё теперь мне.

Я поправил сползший с её плеча плащ и укрыл её до подбородка. Не из жалости: ночь была холодной, а мне нужно было довезти её до Тэлмиры живой.

Нити вокруг неё так и не прояснились.

Я так и не лёг до рассвета.

А утром мы выступили в Тэлмиру.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.